

Елена Четвертушкина

Крысиный Король

Жили-были мы

Елена Борисовна Четвертушкина
Крысиный Король.
Жили-были мы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23466171

ISBN 9785448395673

Аннотация

Эта книга – третья из серии «Жили-были мы», но рассказывает о юности героев. Первая любовь, первые друзья и первые враги в прекрасном древнем городе Акзаксе... И первые предательства. Именно тут истоки и завязки всех будущих приключений...

Содержание

Предисловие	5
Глава 1	11
Глава 2	50
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Крысиный Король Жили-были мы

Елена Борисовна
Четвертушкина

– Сеня, почему у тебя под глазом синяк?

– А пусть не лезут!

Анекдот

© Елена Борисовна Четвертушкина, 2017

ISBN 978-5-4483-9567-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли ...

Что такое молодость?

Серьезный вопрос, сродни прочим риторическим: почему фунт лиха?.. Где раки зимуют?.. Для чего козе баян?

Ни на один из этих вопросов до сих пор наука так и не ответила, а жаль.

В школах с некоторых пор преподают новую науку ОБЖ, то есть – «основы безопасности жизнедеятельности». И вот ведь притча, все точно знают, как именно защищаться, но никак не договорятся – от чего. Все согласны, что ныне сам факт существования человечества оказался под угрозой. Но в чем эта угроза состоит: что лопаем геномодифицированную отраву?.. Что рожать не хотим от лени и вседозволенности?.. Что дышим шут знает чем, и вода в водопроводе – химия голимая, что каждая курица на рынке – либо тухлая, либо с антибиотиком?..

Так тухлая, или с антибиотиком?

И что, в конце концов, нам грозит – глобальное потепление, или глобальное похолодание?

Нет ответа.

Но наука не сдаётся, и делает смелый вывод: все беды от курения. Курить вредно! Ну, вредно, конечно, только в наши дни курение стало таким синонимом прославленных за-

падными СМИ *российских хакеров*, на которых нынче модно валить вообще все на свете, от гибели Атлантиды и разрушения Бастилии до остановки Гольфстрима и смены магнитных полюсов Земли. Всё хорошо у нас с наукой, она трудится с полной самоотдачей, только зачастую находит ответы раньше, чем вопросы, на которые те отвечают. Особенно хорошо у нас обстоят дела с названиями. Например, по всем законам аэродинамики майский жук летать не должен, потому что никак к этому не приспособлен природой. А он летает! Физики так огорчились, что назвали этот казус «теоретической невозможностью»...

М-да.

Так что же такое юность? И где они, наши истоки, какие они? В былинах и мифах каждая без исключения речка начинается с загадочного озера или святого ключа. На деле же, за редчайшим исключением, начало даже великих рек куда как скромнее: неприметное болотце, выпавший из буреломной чащи грязноватый ручеёк, какая-нибудь глинистая заводь в буераках, топь непролазная, пиявочки-козявочки, вострый рогоз да чистотел с полысельным камышом. И фатальное безлюдье... И твой личный ручеек, до невежества чистый, но бурно стремящийся впасть в величественный и могучий поток настоящей жизни, в неуёмном стремлении своем проходит – увы! – дежурные и неминуемые пороги: хаотическое пробивание скорлупы собственного одиночества,

когда, по праву новорожденного, ждешь обязательного всеобщего ликования по поводу самого факта твоего появления на свет.

Это хорошо, если дождешься. А если нет?.. А если предстоит тебе всего лишь паника грудничка, осознавшего себя в лотке для «невостребованных младенцев»; ещё чуть спустя – полное отчаяние, а сразу за ним – неистовая надежда брошенного ребенка, вынутаго из кюветы пусть чужими, но сноровистыми и незлыми профессиональными руками...

М-да.

...В какой-то момент юной жизни я, примерно так размышляя, догадалась, что азартно загоняю себя в пучину комплексов (всё же высшее психологическое образование имело место быть); и, кажется, как раз за очередным утренним Правилom опомнилась. Взяла сама себя – больше-то никому! – решительно за шиворот, крепко встряхнула, и спросила грозным голосом: а не стыдно ли тебе, рыба моя, это что за ропотня?!

Тебя же от совсем страшных бед Бог хранил? – хранил. Соломки подстилал? – подстилал. Умные мысли в дурную головёнку впихивал? – случалось, чего уж там: не станешь же ты, как честный человек, утверждать, что сама такая умная... Ну и усохни, радость моя, потому что все остальное – от лукавого, хоть убейся. Только представить, какое коли-

чество кирпичей промахнулось по твоему глупому темечку, сколько гордых и свободных черных кошек обошли тебя, брезгливо шипя и плюясь, по сложной параболе!..

А отсюда, увы, жестокий и справедливый логический вывод: всё, что кажется непереносимым – всего лишь твои собственные несбывшиеся амбиции и претензии, это тоска по ним представляется непереносимой, а вовсе не дарованная Богом жизнь.

Да, честно признаюсь, было время, когда жизнь казалась мне непереносимой.

Именно поэтому я и пишу сейчас, но только не литературное произведение, нет. Скорее, вообще не пишу, а нащупываю в темноте и тумане памяти тропку, ведущую – меня, уже практически старуху, – назад в прошлое. Даже воспоминаниями мою писанину не назвать, потому что воспоминания субъективны: то вдруг восстает из толщи времени то, чего никогда и не было, но очень хотелось, чтобы было; то вдруг реальные события начинают терять внятные очертания, потому что вспоминать их мучительно. Как в любимом фильме:

– ...*Но это факт?*

– *Нет, это не факт. Это больше, чем факт: так оно и было на самом деле...*

А ведь старость – это вообще целая эпоха, когда умеешь и знаешь уже так много, а можешь уже так мало.

Этот жанр называется «мемуары». Но что же всё-таки

кроется за умным словом – полет, лоток для невостребованных младенцев, кирпичи и черные кошки, усталые паладины и неприметные болотца?..

Нет ответа.

В любом случае, берусь я за перо без особого энтузиазма, потому что давно поняла: воспоминания есть коварнейшая вещь, грозящая мне, автору – бессонницей и сумеречным состоянием души, а близким – вонью моего успокоительного чая и острыми приступами мизантропии, которые способны в момент остервенить даже самых преданных родных. Которые, кстати, сами и виноваты: именно они подвигли меня на описание нижеследующих событий.

Впрочем, Бог с ним, с чаем.

Слишком уж часто беспечный и самонадеянный автор мемуаров, успев счастливо миновать парочку-другую склеротических пропастей и более-менее удачно пробираясь по топким пустошам грамматики и пунктуации, вдруг со страхом обнаруживает, что вовсе не управляет, как чайал, потоком своей памяти, а летит кувырком по её стремнинам и перекатам, тонет в водоворотах, снова выныривает, оглушенный, – чтобы опять, много лет спустя, корчиться от ударов о давно исчезнувшие камни. Память – близкая родственница полыни, она горькая вещь. Опрометчиво доверяясь ей, мы уверены, что прежние ошибки оценены, взвешены и учтены, и полагаем себя уже чуть не мудрее ле-

гендарного перстня великого царя Соломона... Но, как свет давно погасшей звезды, воспоминания обладают всею силой реальности, и ждут не дождутся опять захватить власть над душой.

А ведь так много зим минуло, подумать только, и столько удач выпадало, и любви, и побед, – но, Боже ж мой, как будто вчера, будто вчера...

Глава 1

Когда я родился, дома никого не было, а на столе лежала записка: «Молоко в холодильнике».

Анекдот.

Город, в котором я родилась, – Акзакс, всегда будет для меня Родиной в единственном смысле этого слова, сколь бы пафосно оно ни звучало. В конце концов, в моем возрасте могу себе позволить неформатную сентиментальность, и употреблять святое слово «Родина» (извращенное и оболганное современными, в какую-то непроглядную заумь *продвинутыми* бандерлогами) по собственному разумению. Для не-утерявших души и сердца уточняю: Родина – это то, что не разменивается на экономику и политику, не тиражируется на переезд в любую другую страну, город, поселение, и не размывается восхищением ими.

Акзакс с самого начала, всегда и навсегда, – моя вечная любовь, вечная боль, пожизненная моя ностальгия. Какую бы ни оказывалась жизнь, плохой или хорошей, скучной или интересной, – вспоминаю этот город, не могу не вспоминать, не видеть во сне и академическую философичность старых особняков, и заносчивость доходных домов, которые, задорно подбоченясь балконами, лихо сдвинули на затылок треуголки крыш, и поглядывают насмешливо на лю-

дей, на утекающее в сквозняки подъездов чужое время. Чужое – потому что подъезды самоуверенны и горды: думают, что всё уже видели, всё пережили, всё знают наперёд...

И бульвары: капризные и очаровательные, в обрамлении столетних, перекрученных временем стволов тополей и каштанов, непостоянные, неотразимые, с неожиданными коленами аллей в густых зарослях сирени, каждодневно переполненные яркой жизнью своих завсегдатаев, только ими живые и бессмертные, – они гомонили, переговаривались, переругивались, и существовали искромётно и творчески.

– ...*Дама, откуда у вашей собаки столько медалей?! Она что, съела генерала?*

– *Идите себе, мужчина, что за мода приставать к приличным сукам... Жужу, детка, плюнь на глупого дядьку. И не мотыляйся между ног, гуляй прежде...*

– ...*Скажите, если я пойду в эту сторону, там будет вокзал?*

– *Кто вы такой?! Где вас научили такому беспардонному снобизму? Вокзал там был, есть и будет, даже если вы никуда не пойдете...*

– ...*Боже ж мой, няня, что ж ваш ребенок все время так оглушительно орет? Чего он хочет?*

– *Вы ничего не понимаете в детях, молодой человек. Ребенок хочет орать!*

– ...Что тут толпа, кто мне скажет? В этом городе что-то случилось?

– Нет. Но надо же убедиться лично!

...Тогда, в ту доисторическую эпоху, ответить на вопрос о молодости было очень легко. Это просто была весна, акзакский внезапный март, революционер пламенный, от чьей юной пылкости плавилась сугробы. Даешь лето! Даешь зелень! Долой снег!.. И лавины с крыш, и готический благовест падающих сосуллек, и дворники, сосредоточенные и суровые, как саперы... Вот с апрелем уже сложнее, потому что первый дурман чуточку повыветрился; солнышку приходится вставать раньше, для него начинаются трудовые будни, не блещущие чистотой. Из-под тающего снега выползает, надвигается, гася эйфорию, неприглядная, голая, неприбранная земля. И со всем этим придется делать весну... *Тебе придется сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать...*

Но мы-то делали из зимы весну. И какую!..

...Конечно, теперь я знаю, так бывает: если человек рано лишается родителей, по любой причине (умерли, или уехали, или просто заняты выше крыши – не до детей, есть дела поважнее, всякое случается), то маленькому человечку это всё равно до лампочки, он же просто не знает, чего лишает-

ся. Нет, мы патологических случаев мы не берем... Но в случаях так называемых «рядовых» вместе с молочными зубками у позаброшенного ребенка расшатывается некое, свыше данное, счастливое восприятие мира, ранее защищенное какой-то неизвестной, Небесами благословенной непотопляемостью. И приходит момент, когда преждевременный опыт подсказывает, как ужасно не хватает собственных капризов, которые кто-то обязательно станет терпеть, а ты за это простишь им всё, что угодно. Когда тебе прощают, – когда ты прощаешь – всё, что угодно просто так, ни за что, по неписаному закону беззащитности, нежности и преданности, которых не надо никому объяснять... Да и что тут объяснишь: мамины ласковые руки и бабушкины плюшки на ужин, и папино – рискованное, до счастливого визга, твоего и мамы! – подкидывание под потолок, и дедушкино привычное ворчание перед сном: отчего это никто никак тут не уgomонится, и понимает ли кто-то здесь, в этом зоосаде, что папе с мамой завтра на работу?..

И вдруг встречаешься со всем этим лицом к лицу в гостях у случайной подружки... нет, скорее в любимой книжке – откуда же ещё было черпать жизненный опыт! – и внезапно, в горестном прозрении, узнаешь и понимаешь: ничего этого у тебя на самом деле нет, и не было никогда, только мечты да надежды. Проникнутые культом семьи «Серебряные коньки», «Убить пересмешника», «Капитан Крокус»... Подумать только, да ведь и вредного мальчишку Тома Сойера

так искренне любила тетя Полли! Даже у Пеппи-Длинный Чулок обнаружился любящий, хоть и романтический, папа.

И тогда...

Тогда частенько случается следующее: в наивности своей ты овеществишь и сведешь к предметам всё, о чём тоскуешь, и станешь требовать от вещей какой-то невнятной компенсации за недополученную от людей любовь. Но вещи не умеют любить, сколько бы их не было; убедившись в этом, опять отчаявшись, ты в безумной тоске и растерянности пойдешь вразнос, и враз объявишь войну этому миру, в пику и назло всему хорошему и нормальному, которого тебе лично не досталось почему-то.

Или иначе: не попав в мир людей, позабытая в мире предметов, в неистовом стремлении хоть где-то обнаружить положенную тебе по праву беззащитности любовь и нежность, начнешь любить то, что окажется под шарящей в поисках взаимности рукой – плюшевого мишку, няню, чужой дом или чужую семью – первое, что окажется работающей «валерьянкой» от детского, не очень понятного взрослым, но действительно вселенского и катастрофического одиночества.

Так было и со мной. И так уж получилось, что моим лекарством от одиночества стал большой, старый и мудрый, редкой красоты город, – персонально для меня (как я часто думала) созданная Господом утешительная и поучительная сказка.

Наверное, потому и оказалось так несложно научиться си-

деть на коленях не у бабушки, а у старых подъездов, и разговаривать не с сестрами и братиками, а с дождинками; и отличать ласковые интонации капли с крыши маленькой церкви за углом от строгого, требовательного речитатива капли со стрелчатого навеса над крыльцом Кафедрального Собора. И, уж совсем по-родственному, просто пропускать мимо ушей ворчанье (как дедушкино) зануды-трамвая – ну вот так некстати мне сейчас его громогласные сентенции, упрёки и увещевания, а он все ворчит и ворчит... Я научилась рыдать на жесткой, но всепонимающей груди парковой скамейки. Привыкла здороваться с лестницами и подъездами, как с дальней, но любящей родней. А вот с перекрестками у меня сложились довольно трудные отношения, как с крёстными, которых тебе кто-то когда-то навязал, теперь уже и спросить-то некого, а не денешься никуда, как бы ни хотелось. А они, вот ведь незадача, всё зудят да зудят, всё учат да учат: ты куда, нет, не туда... И так хотелось гаркнуть – все от меня немедленно отстали, я сказала!.. Куда хочу, туда и иду, вот что ты со мной сделаешь, съел!?! И упрямо думалось, что ничего они не понимают на самом деле, просто по сути своей мелочны и недалновидны...

Тупики, загороженные дворы, «кирпич» под воротинной двора, на который мне не было надобности обращать внимания – всё это жило вместе со мной осмысленной, взаимной и насыщенной приключениями внутренней жизнью. Мне всегда в то время было не с кем поболтать, и я совер-

шенно спокойно делилась своими соображениями по поводу тысяч важных вещей и с атлантами и кариатидами городских подъездов, и с античными фигурами на фонтанах; играя сама с собой в «северный проход», сворачивала за угол в неприметный переулок, и вдруг нос к носу сталкивалась со статуей утомленной дамы с дитятей, прикорнувшей в теньке столетнего тополя. И машинально, от неожиданности, говорила: «Ой... Привет!»

А в следующий раз – уже без «Ой». И вскоре начинала замечать, – видеть, отмечать и сочувствовать, – как напряжена спина склонившейся к ребенку женщины, как натружена рука, тревожно подхватившая упитанного младенца... Мне казалось тогда (а может, и не казалось), что всё, имеющее живой облик, живо откликается мне – ну, раз уж больше некому было откликаться. Акзакс всегда был щедр на мудрые уроки, он говорил: дома даже коровья лепешка пахнет маминым молоком. Я и училась: трудолюбию – у трамваев, терпению – у потрескавшихся, седого камня ступенек Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, оптимизму – у Беспечного Птицелова с фрески на доме бывшей Гильдии Гобеленщиков.

Нет, я никак не числила себя сиротой. Да в ум не залетело бы... Совесть потерять совсем бы пришлось, – так думать перед лицом прекрасного древнего города, любимого и любящего меня, какая есть, какой бы ни была, – оплота, опоры, наставника и хранителя!

...Он густо переплетен каналами, по, ому что в средние века, в эпоху развития ремесел, река была самым дешевым видом дороги. И если плыть по нашим каналам по старому городу, то над головой то и дело нависают верхние выносные этажи ближних зданий и балки, теперь уже в большинстве своем бессмысленные, но служившие когда-то для подъема грузов, – чтобы миновать узкие, на поджарого человека рассчитанные, лестницы и проходы верхних этажей. По Акзаксу ходит байка: на каналах очень легко вычислить дом пьющего хозяина, там на выносных балках до сих пор болтаются хорошо смазанные блоки с крюками – доставлять главу дома, напившегося до положения риз, в родные пенаты...

А вообще история моя проста.

Я родилась в Акзаксе, в достаточно обеспеченной семье, и жила там до семи лет вместе со старшим братом Артуром. Мама умерла рано. Отец нами очень гордился, и даже любил по-своему, но времени на нас не находил совершенно, так как занимал очень высокую должность при дворе, и потому в какой-то момент Артур отправился в военную школу, а я – в интернат при монастыре Преображения Господня.

Вернувшись отта узимойда через 10 лет, я обнаружила, что Артура нет, и не предвидится – он продолжал учёбу. Загородное имение на Щучьем Усе в дачном, дорогом, как сейчас говорят, элитном пригороде Акзакса, где мы тогда жили, состояло из тихого барского дома с громадным, ухо-

дящим в бесконечность яблоневым садом, – мы с братом провели там счастливые и оголтелые детские годы, играя в мушкетёров и индейцев. Оно и тогда-то было весьма пожилым, а теперь и вовсе шагнуло в заслуженную старость. Летний флигель потихоньку обрастал снаружи девичьим виноградом, а изнутри – плесенью и сталактитами бледных грибов. В собственно доме потолки первого этажа потихоньку сгибались коромыслом, окна в спальнях страшно сифонили летом, а зимой покрывались разлапистой изморозью; полы предсмертно скрипели почти повсюду, печи дымили, кухарка-поденщица, лет 80-и от роду, постоянно грозила уволиться, и готовила с редким упорством всегда недоваренное, пережаренное, недопечённое, пересоленное... Папа по-прежнему не находил времени заниматься нами, и потому назначил мне опекуна – своего друга, члена Парламента маркиза де Ла Оля, в чьем огромном доме на Левом, ещё более престижном берегу Акса, на улице Подзащитных Грешников, мне и предстояло далее проживать. Собственно, я вернулась из монастырской школы для поступления в Университет. Мне тогда казалось, что изучение науки психологии даст мне верный рецепт избавления от всех горестей земных. Кстати о трагических закидонах молодости: так часто юное существо опрометчиво выбирает профессию вовсе не из стремления употребить собственные, Богом данные, трудно реализуемые таланты, и тем облегчить чужие тяготы, а имея в виду попросту наплевать миру на башмаки, надавать ему по мор-

де своими немереными победами, чтобы расплатиться за все мучительные с ним, миром, дразги и свары, за все детские проигранные битвы...

Хотя, кто знает, – не глупец же сказал: врачу, поди, сведи бородавки у себя с носу, а там, может, и увидишь, как вынуть всякое разное вредное из внутренностей ближнего своего.

...Попав обратно в Город, я занималась, конечно же, ужасно интересной учёбой, вот только имела неосторожность влюбиться в своего опекуна. Как и положено по законам жанра – по уши. Никаких особенных эскапад я себе не позволяла по причине болезненной застенчивости и непрошибаемой невинности, только писала ему тайком каждый день письма, в которых было очень много литературы и очень немного собственно страстей, о которых я тогда имела, слава Богу, чисто книжное представление. Маркиз (до сих пор горжусь тем, что моя скрытность почти граничила с деликатностью) о письмах ничего не знал, равно как и о моих страданиях, и довольно охотно проводил со мной нечастое свое свободное время. То, чем эта мыльная опера закончилась, лучше всего расскажут письма. Упаси Боже – не стану приводить их тут все, только основные, исключительно ради того, чтобы ясно стало: я была в то время непростительно юной, непростительно романтической, непростительно наивной идиоткой.

...А теперь вот, в старости, думаю – может, Господь милостив настолько, что с тех пор изменилось не так уж много?..

Нет ответа.

Поэтому – письма.

1 письмо.

«– Знакомьтесь, маркиз – моя дочь, Зоринка Норенс. Зоринка... Маркиз де Ла Оль.

Ты сдержанно киваешь.

Пауза.

Я знаю, замираю, вспыхиваю.

– Здравствуйте...

Сказав пару приличествующих случаю слов, отец нас оставляет – у него много дел. Ты идешь его проводить.

На улице – дождь. Будто и не весна вовсе, и ветер треплет мокрые ветки, а листья на них совсем уже распустились. Холодно, хоть и май, небо свинцовое... На окнах – капли, как звезды на небе. Окно высокое, стрельчатое. Тяжелые занавески – в тон ковру. Комната – сводчатая, на втором этаже твоего дома. Дом стоит на улице Подзащитных Грешников, на Высоком берегу – самой фешенебельной улице моего Акзакса.

Ты возвращаешься, проводив отца, и я поспешно делаю умно лицо.

Ты говоришь:

– Твой отец... В общем, для тебя всё к лучшему. *Алеа як-та эст* («жребий брошен») ... Монастырская школа... это,

конечно, неплохо, но... Тебе надо учиться дальше, и, видимо, я смогу помочь. Жить будешь здесь. Только давай договоримся сразу, ребенок: библиотека, сад, кухня – пожалуйста, но в мой кабинет носа не совать.

Надо же, а я тебя за умного держу... Сдался мне твой кабинет! Что может заинтересовать «ребенка» в кабинете – окно, задраенное наглухо? Ковер нетоптанный?..

О монастырской школе ты говоришь так, как будто меня привезли из лепрозория. А мне, между прочим, там очень даже нравилось, потому что там все были добрые, и любили меня, и учили рисовать, и петь, и читать стихи...»

Не могу не прервать письма для справки.

Ничего, что могло бы напугать трепетного обывателя, в монастырской школе мы с Джой (моей обретенной там, и, как выяснилось потом, пожизненной подругой) так и не увидели, хотя последующие друзья долго отказывались нам верить. Ни Джой, ни я в детстве к религии никак не прикасались, поэтому в монастыре нам многое казалось не слишком понятным, но и не сказать, чтобы как-то неприятно. Мы, попавшие именно в монастырскую школу не по личной вере, а по произволу дураков-взрослых, насилия над собственной личностью, безусловно, терпеть не собирались, но готовы были сочувствовать чужим порядкам, которые добрые люди просили соблюдать, со всем уважением к нам. Единственное, что на самом деле убивало, так это публичность: общие

спальни, дортуары и туалеты. Невозможность ни на секунду остаться наедине с собой... Суровые монастырские правила были не слишком понятны двум девочкам, не собиравшимся сочетаться на всю жизнь со Христом.

Но!

Но добрая сестра Елена читала нам перед сном и Агату Кристи, и Конан Дойля, особо обращая наше внимание на тот факт, что замечательные эти авторы были, безусловно, верующими людьми, и все удачи и подвиги своих героев полагали несомненной милостью Божьей.

Но, кроме того, сестра Наталья разрешала лазить по деревьям, и не ругала никогда, только просила быть поосторожней, и смеялась, замечая, что вот если бы *тот* мытарь не умел лазать по дереву, – кто знает, как сложилась бы его судьба?! И говорила из Писаний и про Кану Галилейску, и про лилии, которые не прядут и не ткут, и мы всё понимали, и то, что говорила она, и то, что читала из Евангелий... Всё это хоть и не увлекало как-то особенно, но казалось нам, в наши шесть-восемь лет, абсолютно разумным и справедливым. А потом стало совсем интересно, но тут школа кончилась.

Поэтому – опять письма.

«...Называть человека на 18-ом году его жизни ребенком – рискованно, мудрец, даже при нашей с тобой разнице в возрасте – 12 лет. Меня-то она, собственно, никак не вол-

нует, эта разница, но что поделаешь? – наверное, надо было так соскучиться, как я по тебе соскучилась, чтобы налаживать эту – через 8 комнат – странную переписку.

Надежды? – дождь идет. Слова на самом деле прозрачны и недолговечны, они осыпаются на чистый лист, как капли дождя на стекла окон.

– Ты всегда такая молчаливая?.. Конечно, от первой встречи трудно ждать непринужденности, но я надеюсь, у нас ещё будет время...

Первая встреча? – ох, извини.

Ты мудрец, но этого ты не знаешь. И никто не знает – только я, да Артур. И было это 5 лет назад. И обрелись мы тогда на Щучьем Усе. И папе, занимавшему крупный государственный пост, срочно потребовалось тихое место для секретной встречи. Потом, позже, я узнала, что из Мидо-Эйго, загадочной страны за железным занавесом, был выслан «по тихому» за участие в антигосударственном заговоре некий человек 24-х лет, талантливый, горячий, нетерпеливый, дипломат и чернокнижник. Да ещё с рекомендательным письмом от близкого друга моего отца... И папа вспомнил про Щучий Ус. Без сомнения, там свидетелей можно было не опасаться: дети в счёт не шли, а слуг опытный царедворец набирал лично.

И всё-таки свидетели нашлись.

Артур в те времена ещё болтался дома, готовясь к поступ-

лению в военную школу, а я приехала на Рождественские каникулы. Вполне допускаю, что папа об этом не знал. Разбуженные сдержанной суетой в неурочный час, мы с Артуром индейским шагом покинули спальни, обогнули дом по застекленной холодной галерее второго этажа («...Я же говорил тебе, балда, что папа не мог забыть про твой день рождения! Просто у него дела тогда были, всего-то и опоздал на две недели – подумаешь!»), и забрались в гулкую оранжерею, отделенную от каминного зала многосуставчатым остеклением. Отец, конечно, забыл о моём дне рождения, но подарок он мне всё же сделал – я увидела тебя. Впечатление, которое ты произвел, в моем внутреннем мире вполне можно сравнить с государственным переворотом, хотя, скорее всего, особо романтическую атмосферу создавало то обстоятельство, что говорили вы на неизвестном нам языке.

...Потом Артур сказал:

– Хоть бы на минуту к нам заглянул... Конечно, на всяких там у него время есть... А мы?!

Я сказала:

– Ему некогда.

Артур резонно возразил:

– Нам тоже некогда! С утра до ночи – учителя эти дурацкие, гувернантка твоя – дура ну, просто выдающаяся: «Фройляйн... Нихт ломать зонтик, нихт...» Тебя не дождёшься... Давай вот что: я завтра стащу из кабинета вин-

честер, зароем около беседки, в снег. А когда у тебя каникулы кончатся – сбежим в пираты! Спорим – там нужны отчаянные люди вроде нас...

Увы – бедная я! – мне уже было не до пиратов.»

Письмо № следующее.

«Удивительно, как так получается – родной, до печенок, казалось бы, знакомый город, и столько неожиданных подарков-открытий... Каменный, через канал, узловатый мост с железными перилами, изящное продолжение аллеи городского сквера, – а с обеих сторон, с газона, на мост забрался пестролистный плющ, и теперь свисает в каменные пролёты моста (тёмные и глухие) русалочьими, небрежно чесаными зелено-желтыми косами... Знаешь, а раньше, очень давно, надежность новопостроенного моста проверяли, прислушиваясь к падению на него дождевых капель. Я недавно нашла в библиотеке книжку, и выяснила: этот метод называется «ударно-эховый способ анализа повреждений». Он не требует ни денежных затрат, ни перекрывания дорог, только человеческого – профессионального – фактора...

Между Арденалью и Коммерс – лестница-переулок из каменных плит; справа, на террасах – сквер с плакучими ивами, лохматыми рододендронами, половичком тюльпанов и белоснежными, пухлыми страусиными перьями цветущей спиреи. Слева, ступенями, двухэтажные домики окнами

внутри; к вершине холма, на которую карабкается переулок, дома становятся ниже на этаж (нарастая этажностью с другой своей стороны, выходящей на иную, спускающуюся вниз, улицу или переулок), а господствующую высоту победно заняла гордая церковь со стройной колокольной...

Нам с тобой не о чем говорить, любимый; у нас нет ни общих интересов, ни общей памяти. Я придумываю из головы темы, которые – на мой ограниченный неопытностью взгляд, – могут показаться тебе интересными.

Например, вот эта: что такое юность?

Нет, нет ответа!

Проще всего сказать, что это такой отрезок времени, – но прогрессивные ученые уже почти доказали, что времени как такового в мире не существует, то есть не было раньше, потому и жили ветхозаветные патриархи по тысяче-другой лет. И доказательства приводят: период детства у всех известных видов живых организмов занимает не более одной восьмой жизни. А у человека – одну треть: двадцать – типа взрослый; сорок – типа в расцвете; шестьдесят – типа, бабка, опа... И растекается по умам гипотеза, быстро переходящая в теорию (кем-то, приближенным к научным кругам, смело выдвинутая), что Время, как понятие и образ жизни, на самом деле завезли к нам, человекам, проезжие инопланетяне, – может, туристы, может, разведчики, – из каких-то, как пить дать, муторных и клейких соображений.

Так что же есть она – длинная, по сравнению с общим

сроком жизни, но такая короткая молодость – бутон цветочный? Бабочкина куколка? набросок, этап яростного размешивания красок на палитре, в поисках настоящего, глубокого и вечного цвета, возникающего – если повезет – из хаоса оттенков... Хаос, в переводе с греческого – зияющая бездна, наполненная туманом и мраком, которые существовали ещё до сотворения мира. Но, видимо, всё же заложена была в той бездне возможность состояться, разродиться столь дорогим всем нам подлунным миром, как заложено в бутоне – цветение, в куколке – превращение в бабочку, а в палитре – *чудное виденье*.

Конечно, можно и не состояться, кто ж тебе запретит. Так заманчиво – струсить, залениться, плюнуть на все и закуклиться в инфантильность. Имеешь право по Конституции практически любой европейской державы уйти в тину, в рутину, в обиход, да ещё объявив снисходительно (чтоб отстали более энергичные надоеды) всё это неким Великим и Таинственным Знанием. Эквилибристика понятий, надерганных из христианства, исихазма, мусульманства, синтоизма, астралы с эфирами... Так сладко на диване, под пивко с гамбургером, находить в Интернете доказательства своей правоты – правоты лежать на диване. Если захочешь, в Интернете можно найти всё что угодно: рецепт домашнего вина, особо пухлых оладушек, выживания в ядерной катастрофе, исторические ссылки на многоценность нацизма с ленинизмом, методику построения идеального общества, а также «как со-

здать нехитрое домашнее взрывное устройство, недорого»... Это как ружьё с пистолетом: можно собственных детишек учить прицельности, рассказывая параллельно о Робине Гуде, Вильгельме Телле, олимпийских и паралимпийских, вечных, злу неподвластных, ценностях... А можно и школьный автобус с теми же детишками расстрелять, просто потому, что пиво кончилось, и так всё обрыдло, что личная жизнь совсем не задалась...

И начнут, начнут дураки и дороги усложнять допуск к «травме», мачете и охотничьему карабину, запрещать продажу марганцовки и семян петрушки, – классическое *на базаре конопляной веревочки сделалось не купить!* ... Как будто запрет трав, стали и деревья воистину переделает мозги клинических сумасшедших, и снимет все проблемы – социальные, политические, экономические, нищету и неравенство, всю дурь и копоть пошедшего вразнос капитализма, – жестокого, родства не помнящего мироустройства, порождающего все нынешние социальные истерики, психозы, выпадения из социума, терроризм и войны с путчами. Да, я уже знаю, что такое капитализм, «травма», нацизм и семя петрушки. Интернет не для всех зло.

М-да.

– ...Слушай, ребенок, твой отец говорил, что ты пишешь стихи. Это правда?

Я краснею и молчу.

– Вынужден заметить, что мой вопрос остался без ответа. Я понимаю, *матэриа субтилис* (тонкая материя) ... Но, во-первых, не отвечать на вопрос старшего невежливо. А во-вторых, мне действительно интересно. Ну же!

Я тяжело вздыхаю и говорю:

Что пить, когда нечего пить?

Что ждать, когда нечего ждать?

Пить – ночную росу.

Ждать – рассвета приход.

– О, Господи, – говоришь ты. Но это ладно, ты сам напросился, и я уж закончу.

– ...Как жить, если нечем жить?

Жить – как птицы живут:

Восславить песней рассвет,

И раствориться в ночи.

А если усталость и смерть

Тронут горячую голову —

Спокойно уйти, потому

Что всё-таки был рассвет

Для тех, кто не мог без него.

...Слава Богу, писем моих ты не прочтешь. И ответа, соответственно, не напишешь. И я не буду доставлять тебе слиш-

ком много хлопот. Их у тебя и так предостаточно – и во дворце, и в Парламенте... Впрочем, ты уверен, что я тоже очень занята, и это радует. В конце концов, у меня Университет. А если ты спросишь, почему я так прячу от тебя зеленую толстую тетрадку, я скажу, что пишу стихи. И ты от меня моментально отстанешь, потому что ты – умница, и плохих стихов не любишь, а писать хорошие я пока не умею.

Итак, я очень занята. На сей раз никаких гувернанток, и (хорошо это или плохо?) никакого контроля. И я иду, вместо лекций, бродить по переулкам моего Акзакса – смотреть, как дождь сдвигает строгое кружево железных навесов над подъездами, и фонари, как чашечки цветов, пьют воду. Счастье – идти по мостовой, ловить воротником дождевики, пока не ступишь с размаху в лужу, по рассеянности. Идти, и думать о несбыточном...

Каналы, акзакские каналы, мои каналы... Они превращают центр – бывшие торгово-ремесленные слободы – в картографическое кружево. Канал Нищих между парком «Двор чудес» и Худым переулком вдруг расступается, делается настолько широким, что в середине его вмещается тяжёлый дом-утюг, о бушприт которого, бурля, разбивается течение. На носу утюга башня, а на корме – контрфорсы с полубашенками, флагштоком и бойницами... Это бывшее узилище, не основное, а так, для нашаливших придворных, которых казнить не за что, а прощать не хочется. Там сидел пожиз-

ненно один высокородный узник, который, за время сидения, научился определять погоду по поведению пауков – его единственных соседей. Он даже написал – представляешь? – письмо королю, поделился открытием: когда пауки бросают плести сети – это к дождю с сильным ветром. Радиальные паутинные нити – к окончанию бури примерно через пол-сутки. Короткие тонкие нити не исключают возможности изменения погоды несколько раз в течение дня. Если паук вдруг остановится и разрушит одну треть своей паутины – будет ветрено без осадков. Большая паутина – к ясной и солнечной погоде... Король прочел письмо, сделал выводы, и выиграл сражение на Драконьем озере с внезапно восставшим сюзереном, не ожидавшим вдруг налетевшего шквала. Интересно, можно ли найти в твоём доме, где прислуги в несколько раз больше, чем жильцов, нетронутую паутину? – надо будет поискать...

Каких только баек не читаешь в Университетской библиотеке! И дорога туда – если идти пешком от твоего дома, через мост Школяров, а потом по Маете, Оскалам и Кадьяку, – никогда мне не надоест. С улицы Некоролевской – узкий боковой проход под каменной аркой доходного дома на маленькую Троицкую площадь. Все первые этажи прохода – кафе и крохотные лавочки с чем угодно, а к жилым этажам надо подниматься по изъеденным временем плиткам щербатых ступеней. Крохотные дворики похожи скорее

на patio; с другой стороны дома, нависающего над совсем другой улицей, лепится палисад с лавочкой и окружившими её лилейниками в кадках, кустом шиповника и голубой туей; сразу за туей лесенка, она горбатится и кривится между домов, и по ней можно попасть совсем уже в другой район.

А ещё...

Ещё из библиотеки я возвращаюсь поздно, только когда начинает темнеть.

Чахлые липы к небу тянуться – ну, смех!

Доходные дома, как готика древняя – тоже вверх.

В сумерках всё темное – пилон, карниз...

Лишь фонари ярко светятся,

Хоть и смотрят вниз.

И шаги мои отчетливо цокают по камням мощеной улицы, такой узкой, что крыши, кажется, смыкаются над головой; в узком просвете между балконами обеих сторон, как со дна глубокого ущелья, видна господствующая над районом громада собора Покрова Пресвятой Богородицы на Горке...

Вот, собственно, и всё.

...То есть, нет, нет, конечно – извини. Вряд ли – не может быть, не верю! – что всё на свете так упрощенно.

Просто дано по условию задачи: в мире всё устроено правильно – всё, кроме меня. Сама мысль – почёрпнутая... почерпнутая... короче, позаимствованная из современной ли-

температуры, которую ты любишь, а я не понимаю, хоть и старалась, установлено: в жизни каждого уважающего себя современного человека обязательно надо найти кого-то, кого следует винить в личных горестях и неурядицах, этакого «черного гения». На мой взгляд, это отдает паранойей. Я скорее поверю, что правы перекрестки, а не я: они разводят людей, одних – направо, других – налево... А ещё, судя по всему, есть какие-то тупики судеб, где люди, живущие бок о бок, не пересекутся никогда. Не поймут друг друга, не заинтересуются, не полюбят. Что ж, дело житейское. Скользят же мимо нас в окнах трамвая и мимолетные уличные сценки, и неожиданные бездонные перспективы дворцов, мостов и парков, и несёт тебя мимо них электрический мотор, которому всё равно – как говорить, миль пардон, ничего личного...

И пронзительный неоновый свет висит по вечерам на вешалках фонарей.

...Конечно, любимый, я для тебя кто? – правильно, сопливая девчонка. Надпись на красивом мертвом языке на фронтоне нашего Центрального банка: *там, где ты ничего не можешь, ты не должен ничего хотеть.*

Классная фраза, из тех, которые особо невезучим девушкам стоит вырубать серебряным топором на стенах собственной спальни.

Почему именно серебряным? – ну так, для романтики.

Кто такие невезучие девушки? – правильно, нелюбимые.

А знаешь, есть такая сказка: жил-был человек, и ему не везло. Сначала не везло, и все говорили: – «Да ладно, что ты расстраиваешься, молодой ещё! У тебя ещё столько всего будет!». Потом прошло время, и ему стали говорить: – «Да ты что, да какое тебе счастье, в твои-то годы... Дома сиди, о душе думай...».

А потом он взял, и умер.

Ты пойми, я ведь даже не спорю. Нет никаких причин жаловаться, потому что судьба чрезвычайно милостива ко мне. Она радует меня то одним, то другим – сегодня вот дождем. Рано или поздно любые неприятности заканчиваются; рано или поздно я нахожу себе другие неприятности, и милостивая судьба опять ведет меня по счастливому кругу.

Не знаю, может потом будет ещё хуже. Может быть, потом совсем плохо будет – но пока у меня есть этот день, этот дождь и это письмо. Очень оно дождливое вышло, ты уж не сердись.

До свиданья.»

Письмо №№№№... – последнее.

«...Поезд в дальние страны отходит в 4 утра. Я прожила у тебя год...

И знаешь, что я тебе скажу? – иди ты в болото. И поеду-ка я от тебя подальше, куда-нибудь, где я не нужна ни за ка-

ким шутком хотя бы ЧУЖИМ ЛЮДЯМ. Всё-таки, согласишься, не так обидно.

Потому что на самом деле страшно оказаться ненужной именно близким – и ногами не натопаешь, и не накричишь в сердцах... Ну, не обязан никто тут тебя любить, имеет право, опять-таки по Конституции... Ну, отстань ты от всех, Бога ради, пойдя, займись чем-нибудь полезным!

Я займусь, ты не беспокойся. Я найду чем. Но сначала скажу тебе всё, что думаю. Тебе придется меня выслушать: от человека можно отвернуться, а от письма – нет, потому что оно либо будет прочитано, либо не будет, и третьего не дано.

...Не к «новой», не к «красивой» жизни приговаривает себя в треснувшей тишине больная любовью душа. Тот, кто любил не один год одного человека без взаимности, без оглядки, привыкает быть терпеливым; но иногда случается такое, что даже этот терпеливец начинает вертеть в руках свою жизнь и так, и эдак, безуспешно пытаюсь понять, чем же, Господи, так ценна эта мучительная безделушка?! Почему Тот, кто всучил её тебе, не позаботился вложить инструкцию в блестящую упаковку, и некому, некому объяснить теперь – как же разобраться в таинственной головоломке?!

Вот потому и уезжает в голубые дали заплаканная душа в укромный час между закатом и восходом.

...Конечно, ты – мудрец. Но как же ты так ничего и не понял?! Ведь есть же сказка про синицу, – про ту, которая в руке. Самый офигительный секрет всех времен и народов – секрет Полишенеля: быть журавлем проще пареной репы. Легче всего на свете – блеснуть звездочкой на горизонте, феерическим блеском заморочить всем головы и улететь, и ничего не оставить, кроме блеска, который и так придуман наполовину, да и, прямо скажем, не тобой вовсе... Журавли беспрестанно улетают, тонким клином уходят к югу, и по земле за ними не побежишь. А вот синица... Всегда рядом, всегда под рукой, всегда ждет твоей улыбки, даже если не к ней обращена эта улыбка. Маленькая синичка, терпеливая синичка...

«Помилуйте, графиня, я уверен, что Зоринка страшно рада вас видеть...».

Зоринка страшно рада видеть графиню, а графиня страшно рада видеть Зоринку. У графини роскошная прическа, и всё равно она производит впечатление анаконды. У Зоринки... у Зоринки – ничего, только вспыхивающие на хозяина глаза. Графиню это не смущает? – о нет, нисколько, потому что всё, оказывается, предусмотрено: «Графиня, вы должны мне помочь. Посмотрите – этот ребенок за год возмутительно похорошел. Нас с её отцом это положительно беспокоит... Мы намерены выдать её замуж, и есть прекрасный, замечательный человек, а она – ну вот, я так и знал, вы видите, видите! – не хочет...»

Спокойной ночи, маленькая синичка, нам с дорогой графиней ещё надо кое-что обсудить. Отличная синичка, выдающийся экземпляр – куда скажешь, туда и пойдет...

Только здесь ты, мудрец, ошибся. Я молода и глупа, и, видимо, склонна к убогим сантиментам, но тут пусть уж Бог нас рассудит. Уходят города и годы, и события тоже уходят; время засыпает их пеплом новых событий, и остается лишь память – чья-то бессонная страдальца.

...Да, в моей печальной истории, скорее всего, не хватает не слов, а точек, запятых и двоеточий. Но я ничего не стану переписывать, и жалеть ни о чем не стану, хотя очень может быть, что годы спустя прочту всё это и ужаснусь: Господи, спаси и помилуй, чтобы вот такой душой... Но я мечтаю стать писателем, и никем другим. И, видимо, не совсем беспочвенно, потому что все, что происходит со мной, пусть глупое и опрометчивое, для меня всегда, обязательно и непременно – повод для безжалостных раздумий. Мне никогда не казалось унизительным показаться смешной, нелепой или неправой – ни на исповеди у духовника в случайной церкви, ни на исповеди коренной подружке в укромный поздний час; запись в рваном дневнике, материал случайной статьи в случайной, на пути встретившейся, газетке... Я не знаю, чем буду для Литературы. Я знаю, что Литература есть для меня: обреченность, судьба, память, призвание, Дорога. Альфа и омега, виноградники Господни, может быть, слишком самонадеянно взятые мною в аренду... Но тут уж ничего не из-

менить. Так неужели же всё это – только ради того, чтобы писать письма, которых никто не прочтет?!

Да, на этой Дороге нет у меня ничего пока, кроме этих писем тебе. Но страшно хочется верить, что именно в момент прочтения пресловутых этих писем кем-то другим, каким-то гипотетическим доброжелательным читателем, всё вышеизложенное, как царевна-лягушка, ударится оземь, и обернется настоящей своей, дураку недоступной, но всему свету понятной, пусть наивной, но честной и чуточку грустной стороной; и вся моя юная наивность и глупость покажется случайному читателю если и чепухой, то хоть искренней, и достойной обыкновенного, нормального человеческого сострадания, если оно ещё осталось в нашем мире.

...Да, за время одиночества мы частенько не только ударяемся в комплексы, но и навываем приписывать себе некоторые несуществующие достоинства: у нас просто нет другого выхода. И тогда задача близких – конечно же, разрушить глупый покой идиотских представлений, но не ранить самолюбия словом, которое лень было обдумать.

Жестко оставлять нас в наших заблуждениях, но сделать это безболезненно – проверено! – может только тот, кто любит.

Пусть не женщину. Пусть ребенка.

И ничего, ничего и никогда не получится без любви.

Вот потому я говорю: джентльмены, будьте мужчинами!

Наши корабли без якорей, с весёлыми заплатами на бесстрашных парусах – день и ночь бредут усталые паруса по бушующему морю.

Потому что я люблю тебя.

Прощай.»

* * *

Понятия не имею, как там маркиз потом объяснялся с отцом после моего побега. Лично у меня были все основания гордиться собой: на ушах стояли все. Эскапад от меня никто не ожидал, я считалась девушкой строгих правил, исчезновение провернула виртуозно, употребив все навыки индейцев и мушкетеров, включая предмет особой моей гордости на старости лет (и предмет восторга всех моих детей, которым рассказывала эту историю, как волшебную сказку) – веревочную лестницу. Этот предмет был ни за каким шутком не нужен в сам момент использования; я прибегла к нему единственно как к идеальному средству от несвоевременных слез и дурацких метаний. Проверено лично: веревочная лестница на самом деле есть сооружение хоть и романтическое, но зато хлипкое и неудобное до жути: пока лезешь, думать приходится точно уж не о несчастной любви. А когда (если!) спуск победно завершен, на радостях, что осталась цела, вообще обо всем забываешь. Незаменимая вещь!

Письма с собой забрать как-то не догадалась; маркиз, пе-

ревернувший вверх дном всю мою комнату после вышеупомянутого события, их нашел и даже сохранил, уж не знаю, зачем. Впрочем, знаю: он искал шаблонного любовника, смазнившего со двора невинную девочку, а нашел себя, любимого. И ту же невинную девочку, но неформатную.

...Собственно, дальнейшие четыре года я провела в бегах, самоутверждаясь всеми доступными способами, и не без успеха. Нет, ничего страшного со мной не случилось, если не считать того, что в Акзакс я вернулась абсолютно свободной и от многих иллюзий, и от фатальных комплексов, да ещё и с годовалым сыном Бобкой. За его отцом замужем я пробыла ровно год, и эта история не представляется мне достойной упоминания.

За это время мой папа умер – тихо и достойно, у меня на руках, за что я не устану благодарить Бога.

Остановились мы у Джой Гастелль, моей подруги ещё с монастырской школы, которую я заново обрела в странствиях. В Акзаксе у неё имелась квартира на улице Солнца.

Маркиз встретил меня задумчиво, старого не поминал, бестактных вопросов не задавал, но отметил, что опекуном моим всё ещё является, так как 23 года (время вступления в совершеннолетие и права наследования по законам Зодата) мне светит только в следующую зиму. Влюбленность

моя к тому времени благополучно рассосалась, как майский ночной иней под майским же, ясен пень, солнцем. Поэтому я просто поставила маркиза в известность о своих планах: селюсь отдельно, и никаких дурацких денежных вспомоществований. Пусть уж маркиз – опекун там, не опекун, – сам валандается со своими миллионами, а мы с Бобкой и так проживем.

Бояться голодной смерти в обнимку с сыном и в самом деле было нечего: мудрый папа обеспечил меня до совершеннолетия щедрым пансионом, которого я, из соображений независимости, всё это время вообще не трогала, а за время побегушек и захоронок кем только не пришлось потрудиться! Сидела кассиром у фуникулера высокогорного курорта в Корумбии; полы мыла в Юнийской университетской библиотеке – конечно, не в столице, не в Кингстауне, а в тихом Мидоувере. Пирожки пекла вместе с такой классной тёткой – она бойко торговала ими в самом «страшном портовом районе» Артемизы... Вела колонку «Письма наших читателей» в захолустной газетенке – дай Бог памяти, где же это было?! – кажется, в Гель-Гью, а может – в Лисе, не помню... Что помню хорошо, так это как за барной стойкой стояла в одной из провинций Кампанеллы. И как пела на центральной площади древнего Златува в Кастле, сколотив махонький оркестрик из случайных знакомых; а ещё рисовала и продавала картинки на набережной Художников, – вот это точно было в Гель-Гью... Короче, помереть с голоду я

не опасалась, но всё же сын-то имелся, и пора было устроиться надолго, то есть надёжно и обстоятельно. Главное, чтобы не противно и не скучно: стоило возвращаться в любимый город, чтобы маяться тоской по несбывшемуся! Странствия всё же принесли мне некоторую первичную мудрость: например, я теперь знала точно, что иметь в собственности можно и порядочно только то, что любишь, а любить – труд весьма тягостный на самом деле; и потому прежде чем очертя голову влюбляться, следует очень и очень внимательно приглядеться к тому, во что собираешься кануть, будь то профессия, город или просто квартира.

Поболтавшись некоторое время по Акзаксу и восстановив с ним, так сказать, психологический контакт, я наконец определилась с приоритетами, и сообщила маркизу о своем решении. К громадному моему удивлению, тот поначалу просто отказался принять идею всерьез.

– ...Какой трактир, ты с ума сошла? – спросил он, созерцая ручной работы расписной (райскими откормленными птицами и задастыми музами) потолок, – тебе учиться надо, Университет заканчивать, хватит уже блажить!

– Какая же это блажь, – удивилась я. В те времена (да и теперь, если честно), к каждому новому увлечению я относилась запойно, то есть кидалась в него, как под трамвай, и никого не слушала. Точнее, не слышала.

– ...Всё продумано. Учиться буду на вечернем... или

на заочном.

– Зоринка, ты сама что хочешь найти в этом трактире?

– Ян, послушай. В твоей библиотеке... как войдешь – налево до упора, и там верхняя полка. Не помню чьи, но мемуары...

– Да при чем тут!..

– Мемуары, Ян. Одной из кого-то там, ты привез из Мидо-Эйго, какие-то твои пра-пра-пра-тетки... В общем, они тогда жили натуральным хозяйством. Это просто хозяйственные записи, неужели не помнишь?! Хотя где тебе... Ну, типа: если к вам неожиданно приехали родственники зятя, возьмите баранью тушу с ледника, варите крепкий бульон, потом выбираете из кладовой две дюжины однодневных яиц, берете шесть крепких дворовых девок...

– Бога ради, детка! У тебя сын, какие зятья?!

– Мне нравится хозяйствовать, Ян. Тебе не понять, но сейчас очень мало кто вообще готовит, искусство домашнего стола стало чем-то средним между атавизмом и раритетом. Люди все норовят пригласить в ресторан, или устроить «фуршет» с пивом и пиццей из соседней пиццерии... У меня будет не так. Мне, ясное дело, негде взять *шесть крепких дворовых девок*, но мне страшно нравится кормить людей. Вот ты можешь себе представить: к тебе навалилась компания, человек десять, и все голодные... Нет, подожди про дворецкого и кухарку – Ян, ну честное слово, без кухарки с дворецким ты нищесброд, клянусь, ты из-за своих лимонардов

без кухарки даже кофе не сварить! Ну, так мне это не подходит... Помнишь, ты меня водил в кафешку на Невольничьей набережной, её уже год как закрыли – тебе там картофельные блинчики так нравились, нигде больше в Акзаксе таких не готовили... Теперь смотри: сырая тертая картофелина, 2 столовых ложки муки, 60 грамм кефира, 1 яйцо, 30 грамм сливочного масла. Перемешать, жарить во фритюре в смеси из оливкового масла с рапсовым. Посыпать смесью 4-х перцев, базиликом и завалявшимся в углу холодильника сыром. Срезать плесень... Ага! – радостно взвизгнула я, – ты смутился и судорожно сглотнул! Так вот тебе ещё: рыба с кокосом. Готовил во дворце повар Его Величества, упокой, Господи, его душу... Повара конечно, а не Величества... Ты сам говорил чуть не со слезой, что больше такого переживания тебе жизнь не предложит... Предложит! Я предложу. 90 грамм кокосовой стружки перемешать с 1 чашкой молока и половиной чашки сливок, и проварить 10 минут. 800 грамм рыбы натереть солью, перцем, соком половины лимона, залить предыдущей смесью и – в духовку, минут на 25. Посыпать сверху чем хочешь: петрушкой, укропом, имбирем, прованскими травами. Ты не любишь прованских трав, я знаю. Ты любишь лайм, имбирь и гвоздичный базилик... Я натру имбирь, замариную его в гвоздичном базилике с грушевым уксусом, и... Тебе мало? – хорошо: в сентябре на рынке в Веселом Порту по цене мусора продается товар, не канающий на рынке «Под воронами»: яблоки, зелень,

овоци, просроченные персики, абрикосы, айва, слива. Где достать спирт, выгнанный, за неимением денег, экологически чисто, я тоже знаю. Его гонят по ночам в Парке Чудес, и сырье – фрукты, которые через день оказываются просроченными, и их раздают чуть не задаром водителям и грузчикам, выбрасывают на помойки, куда знакомые мне клошары за ним специально приходят, и мне готовы сдавать. За нормальные деньги.

– Да зачем же...

– Ох... Да как ты не поймешь, скучно мне жить на дармовые деньги, пусть хоть унаследованные! Потому что я – женщина, не пальцем деланная. И когда я уходила с последнего своего места работы, мой работодатель – владелец модного кабака, – волосы на себе рвал, потому что я так и не рассказала ему ни секрета приготовления кастильских дерунов «в лоскутах», ни тайны травок, на которых настаивается никейская ракия. И все то, что я могу взять по дешевке, я могу тут же переработать в такие блюда, что даже ты – сноб и придира, – не посмеешь охать.

– Я и не собираюсь, я вообще...

– Нет, подожди, я всего лишь заставила тебя посомневаться, но ещё не убедила. Что ты, собственно, так смотришь? Думаешь, что я собираюсь сама все вечера торчать за стойкой или в кухне?! – ещё не хватало... Я буду – хозяйка, понимаешь? Хо-зьяй-ка!

Маркиз молча встал, и, провожаемый моим насторожен-

ным взглядом, прошел в угол комнаты, к бару. Достал бутылку, стакан, плеснул себе коньяку, задумался не глядя – не плеснуть ли мне? – не плеснул, выпил залпом, и вернулся на место. И фыркнул раздраженно:

– Девочка, но это же бизнес, пойми! Что ты можешь понимать в бизнесе, скажи? Это только кажется, что все так просто, ты представить себе не можешь всех сложностей. Патент на трактир – это санэпидемстанция, пожарники, наркоконтроль, архитектурный надзор, мэрия, не к ночи будь помянута...

Выпить меня не тянуло, – уж точно не здесь и не сейчас, а бестактность опекуна попросту развязывала руки. Точнее, язык:

– Нет, это ты не понимаешь, что я всё уже давно здесь понимаю. Извини, Ян, но для тебя, как для аристократа с прислугой, самое страшное, что может случиться в жизни – это беременность старшей горничной... На эпидемстанции работает Гуля – что ты ржешь, я сейчас обижусь всерьез, он Гильом на самом деле, это его на Старой Площади в Кастле так называли, когда мы там зажигали... Удивительный баритон, было бы образование, мог бы залы собирать, врожденный абсолютный слух, такой парень!.. Но у него фобия, зала боится до обмороков, и пел только с нами. Какую выручку делал, я тогда, грешным делом, даже откладывала... Ну и что, ну и да, ещё до меня за ум взялся, и сейчас здесь работает, и спит-видит, что кабак открою... А пожарники – да

смешно говорить, что я, Зябу не помню, и он меня помнит, его мама у нас в монастырской школе нянечкой была, Царствие ей небесное, он до сих пор переживает... Ян, отстань. Ты в особняке живешь, а я, спокон веку – в Городе. Я всех знаю, меня все знают... Да, помещение я уже приглядела, в Веселом порту, там по дешевке отдают бывший пакгауз, если поспешить – за смешные деньги получу...

– За смешные деньги?.. Пакгауз?.. Ты, кажется, кафе собиралась открыть, а не стадион.

– Ян, ты нарочно прикидываешься тупым?.. Там уже все поделено, покупают под конторы, под станцию проката рыболовных принадлежностей, муниципалитет ещё берет – им нужно помещение под архивы... Мы уже все договорились, скидываемся частично – на перепланировку, чтобы не сто согласований делать, – да, и с пожарниками, и Мэрия поможет, – а потом каждый уже сам...

– Так, – сказал маркиз, – вот оно. Я об этом и говорю... Тебя облапошат, дитя мое, это ясно.

– Да ничего меня не облапошат. Ну кому я сдалась, облапошивать меня... Ну, может и да, меня, наверное, облапошили бы, только заниматься всем этим буду вовсе не я.

– А кто?.. Впрочем, неважно; кто будет заниматься твоими делами, тот тебя и облапошит.

– Нич-чего подобного. Во-первых, я никого не уполномочиваю вести дела от моего имени. А во-вторых, меня консультирует брат Джой, Даниэль Д*Армани. Он про дела

и про деньги все понимает, он бывший контрабандист...

– Оп-ля, – сказал маркиз, – то есть, на самом деле все даже ещё много хуже. Ну-ну...

Потребовалось несколько дней, чтобы до маркиза дошло: всё всерьёз. И тогда, помолчав, он строго сказал:

– Вот что... Есть одно дело.

Глава 2

*Так хочется, пока живешь на свете,
Наслушаться прибоя и скворцов, Настроить
фантастических дворцов, И не бояться быть за них
в ответе*

Александр Дольский.

Совсем недавно, буквально вот-вот, у нас в Акзаксе, столице Объединенного Королевства Зодаат, на Левом берегу реки Акс, на первом уступе горного плато возник белый двадцатиэтажник, а при нём – аэродром и загадочная площадка с надписью «ПОЛИГОН!!!» на воротах.

В тот судьбоносный день маркиз очень внятно объяснил мне задачу создаваемой организации.

В здании располагался Центр Кризисных Ситуаций, в просторечии – ЦКС. Я-то, по наивности, сначала решила, что основной функцией этого учреждения будет защита общества от террора, природного и человеческого. Но маркиз заявил, что некий классик ещё во времена оны сказал: *это зло ещё не так с большой руки*. Оказалось, что с проблемами этого рода человечество худо-бедно справляется подручными средствами: полицией, юстицией, если совсем уж не повезет – армией, но, в общем, справляется.

Маркиз объяснил: тревогу вызывала сложность другого порядка. И вот с ней никто – понимаешь, детка, никто! – так

справится и не смог, а выходило, что без решения именно этой проблемы душевное спокойствие, полноценная жизнь на благо общества и вера в будущее (такие простые и как бы обыденные вещи) зачастую оборачивались фикцией.

Проблема же заключалась в следующем.

Известно, что закон – человеческий закон, – частенько сам пасовал перед собственной сложностью. Он всюду жал на педали, крутил руль и дергал за рычаги, но только зря взрывал, буксовал и юзовал (да и об стенку его часто шибало, и разворачивало до полной собственной противоположности), – а решить проблему не мог. Причина же такой пробуксовки была проста: абсолютная неповторимость и непредсказуемость человеческой судьбы, которая постоянно так выворачивалась и выкручивалась, делала такие фуэте и батманы, что ни закон, ни здравый смысл, ни даже самое разнузданное воображение не могли не то что помочь, а даже просто согласиться с существованием эдаких пердимонклей. Общеизвестный носитель правды и справедливости – Церковь – прощала исповеданные грехи, и даже, в некоторых случаях, не боялась взять на себя ответственность за неподчинение закону, – но при всем том не могла гарантированно дать раскаявшемуся грешнику ни крыши над головой, ни достойных средств к существованию: ничего, кроме глухой монашеской кельи. Но ведь не каждый способен на подвиг монашества, а закон предлагал тюрьму и каторгу в равной мере и раскаявшемуся, и не раскаявшемуся, а между тем,

а между тем... Защиту обывателя от грабителя, насильника, террориста и бюрократа гарантировала вся мощная система государственных учреждений. Но кто мог гарантировать обывателю – а особенно не обывателю – защиту от государства?.. Всей этой инертности, заскорузлости, ошибок, кумовства, коррупции, тупости и торопливости, и уж непременно – полного нежелания признаваться во всем вышеперечисленном.

Не говоря уже о том простом факте, что многие из нарушавших закон обладали специальными навыками, которые давали им возможность при желании в полной мере исправить причинённое обществу зло. И тогда возникал малоприятный выбор: сгноить ли самые лучшие годы преступника в тюрьме или на каторге, или всё-таки использовать эти его лучшие годы (при его согласии, разумеется), более плодотворно?!

Требовалось нечто среднее между карантинном и реабилитационным центром: независимая структура, достаточно светская для решения светских проблем, но достаточно автономная от множества не слишком мудрых человеческих установлений типа *око за око, и зуб за зуб*.

Ответственность за разумное решение этого вопроса как раз и готово было взять на себя ЦКС. То есть – Центр Кризисных ситуаций.

Структуру ЦКС имело стандартную. Сверху сидел Директор, он карал и миловал; за ним шли замы, они же – началь-

ники секторов. Информационный сектор добывал всевозможную информацию, Научный её по мере сил и возможностей обрабатывал; сектор Культуры приглядывал за всем Разумным, Добрым и Вечным; Стратегический рекомендовал, что со всем этим теперь делать, а Технический обеспечивал потребными для того средствами. Существовала ещё одна, автономная структура, которая по малочисленности своей называлась Отделом, причем Первым. И населяли его как раз те самые заблудшие души, которым мы могли предложить работу по специальности, только на сей раз без уголовного. Занимался отдел добыванием труднодоступной информации, эвакуацией заблудившихся в лабиринтах закона случайных пострадальцев, – то есть операциями, требующими определенных специальных навыков. Так получалось, что именно они, с более-менее открытым забралом, непосредственно и по мере сил боролись с тем, с чем борется со времён давних всё прогрессивное человечество.

Директором ЦКС отчего-то, чуточку поломавшись, согласился стать маркиз.

Конечно, явился Центр миру в абсолютно привычном облике, то есть в виде лапидарного учреждения со штатом сотрудников.

И немедля оброс множеством легенд.

...На торжественном приёме в эксплуатацию здания, долженствующего вместить в себя это хитроумное начинание, по счастью, оказались все свои – король, мэр, маркиз де Ла

Оль... Ибо выяснилось, что кто-то что-то напутал с проектом, и парадный вход с шикарным подъездом и застекленным холлом смотрит отнюдь не на город, а на задворки Полигона. Зато глухой брандмауэр с уродливыми железными воротами грузового входа гордо взирал на шикарную автостраду через мост и паркинг на 500 посадочных мест. Оправившись от шока (чему в немалой степени способствовало заготовленное к торжеству шампанское), пообещав друг другу непременно удавить собаку-прораба, высокие гости порешили решить проблему кулуарно: заменить ворота и пристроить крылечко с козырьком. Потому что, как говорят в Акзаксе – *там, где брошка, там перёд*.

Когда Здание заполнили аборигены, один из последних забрёл от нечего делать на подземный этаж. И вылетел оттуда кенгуриными прыжками, оглашая коридоры нечеловеческими воплями. Его отпоили пивом (оживлявшим по пятницам работу двух кафетериев и одного бара на третьем этаже), и он поведал изумленной публике сагу о драконах в подвальной помещении. Группа отчаянных от руководства, вооружившись огнетушителем, отправилась в разведку и выяснила: строители, возведя стены, забыли вывезти из котлована пару экскаваторов. Позже машины разрезали автогенном и вынесли по частям.

Но и это ещё не всё. Архитектор, делая проект, видимо воплотил в нем свои представления о целях и задачах нового учреждения, и малость переложил по части таинственности.

Извивы коридоров, неожиданные тупики и сквозные холлы, похожие друг на друга как клоны, представляли собой такую головоломку, что передвижения по ним с непривычки грозили реальной опасностью провести именно там остаток быстротекущей жизни. Шутники из оперативного отдела тут же начали таскать с собой облегченные варианты спелеологического снаряжения... Однако пущенный первоотдельцами слух о том, что центральная лестница, пронзавшая Здание снизу доверху, то расходясь на два рукава, то вновь сливаясь, – так вот, миф о том, что где-то в районе этажа администрации эта лестница образует петлю Мёбиуса, оказался чистым блефом.

– ...Ты легко сходишься с людьми, – сказал маркиз, – тебе и карты в руки. Ты же понимаешь, что биографии у первоотдельцев лихие, это люди, не верящие ни в Бога, ни в черта, но свято чтущие некий рыцарский кодекс. Девочку они не обидят. А вот начальство – запросто. Оно мне надо?.. Так что будешь референтом – секретарем отдела. Должность лукавая: с одной стороны, подай-принеси, а с другой – мягкая прослойка между начальством и подчиненными... После всех твоих экзотических приключений – ты справишься.

Вот тут маркиз отчего-то не ошибся.

Но когда я стала всё это пересказывать Джой, стройная теория почему-то начала стремительно расплзаться. Видимо, маркизовы объяснения в моем сознании упали

на хорошо перепаханную романтическими бреднями почву, Джой же стояла на совершенно других платформах, и сроду не любила морочить себе голову великими идеями. Выслушав меня, она почесала в затылке, заметила, что *консерватив не кончала*, и работать в ЦКС пошла, но – рядовым сотрудником в Информационный. Тихая, глубоко медитативная, ни к чему не обязывающая деятельность.

С самого момента образования новой структуры работы стало – не продохнуть. То в одной отдельно взятой стране вдруг-вдруг-вдруг резко возрастает количество самоубийств. Или люди рожать не хотят: по официальным данным там разве что не рай, а встретишь аборигена лично, так он руками машет – кому верите, люди, у нас ужасы творятся... Ну, и начиналась разработка: из источников – иногда вполне официальных, иногда не очень, – собиралась информация. Далее её обрабатывали специалисты – политологи, экономисты, статистики, психологи, – они искали закономерности, выявляли причины и ставили вопросы. Иногда требовалась дополнительная информация, каковую (зачастую с риском для жизни) добывал оперативный – Первый отдел. Далее шли выводы, прогнозы и рекомендации, за которыми следовали практические разработки: создавалась оптимальная стратегия ликвидации безобразия, буде таковое имелось; создавались всякие фонды, изыскивались и перебрасывались средства; если надо, оповещалась широ-

кая общественность; посылались опытные дипломаты к дипломатам и политикам. Изредка возникала необходимость в действиях более решительных, и тогда в бой опять шел Первый отдел.

Структура наша числилась международной, то есть всеми востребованной; во многие нестыковки я, по необразованности юной, не входила, хоть иногда и замечала их.

Первый, Оперативный отдел, отныне – мой по праву защиты (моей защиты первоотдельцев от всех на свете, включая их самих, если кто не понял), то есть единственной формы принадлежности, которую я признаю, – оказался заполнен не просто симпатичными людьми, но и, по стечению обстоятельств, старыми знакомыми.

Он был маленький в то время. Возглавлял его Данюша – Даниэль Д*Армани, Джоев брат, но веры ему, как и всем прочим, особой не было, так что оказалось, что моя должность – это служить буфером между сложноуправляемой вольницей и суровым начальством. Кроме того, начальство справедливо предполагало, что уж точно проще руководить сопливой девчонкой, чем бандой головорезов, поэтому очень быстро получилось, вопреки расхожей практике, что на летучки, планерки и разборы полетов ходила я. С моими подопечными меня, собственно, познакомила именно Джой.

Со Стивом и Кристофером Джой познакомилась в Дэлг-эрхэте, Невада прекрасно помнил меня по его любимой блинной в Златуве, со Станиславом я работала в одной Ком-

панельской газете, и так далее. То есть, все сплошняком спутники бедовой юности. Юность свою мы с Джой провели хоть и бесславно, но бурно; зарекомендовали себя безнадежно порядочными и имманентно не способными на подлость; кроме того, я с детства болталась среди взрослых и очень рано научилась воспринимать окружающий мир как данность, без истерики, и решать проблемы не так, как хочется, а как будет лучше для всех. Попав в отдел секретарем-референтом, и выяснив, кто, собственно, находится нынче под моей защитой, я немедленно забоялась, что с дураками мои продвинутые друзья никак не уживутся, а неприятностей они уже и так хлебнули, и им не понравилось. Подопечных своих я нежно любила, очень скоро нас связала настоящая крепкая дружба; стиль общения сложился демократический, и битые волчары очень старались меня не затоптать в спешке, просто из жалости, и даже не отказывались выслушивать. Отношения же подчиненных с начальством оформились окончательно где-то через месяц. Месяц все толклись, как мошка у лампочки, создавая больше проблем, чем все враги вместе взятые.

По счастью, Даниэль питал ко мне некоторую слабость, и в обиду не давал, тем более, что общение с начальством полагал, до поры до времени, ниже своего достоинства. Так что поначалу всё как-то удачно сложилось, просто удивительно.

Трактир был забыт.

А судьба наша уже обустроивалась, уже пристраивалась в засаде, расчехляя снайперскую винтовку...

Итак, я начала новую жизнь: закрепились в ЦКС, постриглась, сделала химию, и купила дом. Это был пленительный особнячок на улице Гро-Кайю, – не то чтобы большой, но двухэтажный, с мезонином, застекленной полуротондой и огромным очагом в гостиной. Он был, конечно же, большеват для меня, и по архитектуре скорее уродлив, но я в него просто влюбилась с первого взгляда, – в небольшой садик, заросший крапивой и ветлами, с короткой каменной, озерного камня, дорожкой от калитки к дому. Ветхое крыльцо с громогласным жестяным навесом над ступенями я вскоре прозвала Россинантом: оно шаталось, кренилось, и не рушилось окончательно только по врожденному мужеству, или из каких-то совсем уж высоких соображений.

Прихожая скорее всего задумывалась как холл, но не сдала приёмного экзамена почему-то, и теперь в выгороженном убогой фанерой пространстве ютились одинокая, но гордая рогатая вешалка, мутное зеркало с мраморным гигантским подзеркальником, и облезлая козетка на когда-то кокетливых балетных ножках.

Далее следовала гостиная, она же кухня и столовая, с собственным эркером, который смотрел на погрязший в крапиве палисад; я немедленно заволокла в эркер кресло с круглым столиком, и немедленно полюбила там сидеть. Непролазная,

тропической зелёности крапива, перемежаясь редкими кустами и деревьями, стремительно и круто сваливалась вниз, к безымянному ручью в безымянной же ложбине, поросшей довольно жилистой серебряной ветлой с венозными переплетениями когда-то обрезанной поросли. Сразу за всем этим безобразием, на противоположном пригорке за ручьем, виднелся ухоженный и засаженный декоративными хвойниками задний двор таверны «Каменная табакерка», с небольшой гостиницей во флигеле, стриженным газоном, деревянными лавками и коваными ажурными мангалами. Тот берег спускался к ручью чинно и не спеша, зато мой карабкался к дому уже хаотическими рывками, роняя по пути молодые неопытные клены и каштаны, не успевшие обрести устойчивость в борьбе с внешними водами, дождями и законом всемирного тяготения.

Кроме холла, на первом этаже имелась ещё боковая библиотека, она же кабинет, почему-то отсеченная от остального пространства дубовой, на борьбу со стенобитными орудиями рассчитанной дверью, с медной ручкой в виде ящерицы. Второй шаткий этаж заполняли спальни в количестве трех штук – детская, хозяйская и гостевая, по идее. В столовой располагался очаг, сразу же завоевавший мое сердце стильной – «случайной» – проплешиной кирпичной кладки посреди аккуратной побелки, и речным камнем, обрамлявшем устье топки. Очаг решил дело, и я въехала в новый дом при помощи друзей – Первого отдела в полном составе, марки-

за и Джой. Небогатые мои друзья скинулись на недорогую мебель из комиссионного магазина, Джой приволокла на тяжеловесе-Неваде каминную кружевную решетку с блошиного рынка, маркиз привез антикварное кресло-качалку и гигантский папоротник в кадке... Я сама с собой скинулась на пироги, салаты и выпивку, и новоселье было отмечено, при большом стечении народа и дешевого вина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.